

НЕМЕЦКИЕ САНДАЛИКИ И КОНЬ ГЕРМАНСКИЙ

Весной Аньке исполнилось двенадцать, а Таньке десять. Танька всегда донашивала Анькину одежду, и тапки тоже. Но в последние годы Анька росла быстрее. И хотя старшей сестре купили новую обувь, ее прошлогодние тапки младшей были сильно велики.

В общем, когда деревья покрылись сочной листвой, воздух прогрелся, когда школьников отпустили на каникулы, и остро назрела необходимость менять зимние ботинки на тапки, мама набила в «носы» тапок газету. Во-первых, две пары обуви – и старшей, и младшей – покупать было накладно, а во-вторых, маме не нравилась та обувь, которую предлагали на Танин размер в детском магазине. Впрочем, как девочка догадывалась, второе, по всей вероятности, являлось следствием первого...

Аньку в тот год отправили на две смены в пионерлагерь, а Танька, как обычно, проводила лето у бабушки – на тихой окраинной улице, где воздух был почище, чем в центре, где в огороде росли яблоки и огурцы, а сразу за огородом начинался просторный луг... Пришла Таня туда в набитых газетой, больших, как лыжи, тапках.

Особенного в этом ничего не было, ходила она в этих тапках нормально, а когда надо было бегать, снимала их и бегала босиком. Иначе они все равно сваливались. По этой окраинной улице с поросшей спорышем и мелкой аптечной ромашкой дорогой многие дети бегали босиком. Таня любила и бабушку, и ее улицу. Лето, да и вообще все каникулы и воскресенья она проводила здесь. Улица была одноэтажная. Десять лет назад, сразу после войны, Танина вернувшаяся из эвакуации бабушка сумела построить крохотный деревянный домик – рядом с таким же домиком своей сестры – бабушки Вальки с Нинкой. Послевоенные частные домики – деревянные и кирпичные, обшитые тесом и бревенчатые, покосившиеся «временки» и красиво отделанные цветными наличниками избушки – близко лепились друг к другу, перед каждым имелся небольшой палисадник, огороженный штакетником. Машины проезжали очень редко, и дети беспрепятственно носились по узенькой дороге: в лапу, в штандр, в чирика, в прятки, да мало ли во что... Все соседи были хорошо знакомы, у всех была твердая, давно сложившаяся репутация. Таню здесь звали Танечкой.

Исходило это не от бабушки и не от мамы (те называли обычно Таня или Танька), а просто так повелось на улице. У многих на улице были прозвища, и у взрослых, и, конечно, у детей. Лору Прохорову звали Агриппиной или Гриппкой (за пухлые губы – «грибы» в просторечии), ее маленького брата Сашку Савосей, Зойку Зуеву – Зуихой, Любку Журавлеву Журавлихой, Вовку из углового двухквартирного дома – Нервненьким (за обидчивость), Сережку Рюхина – Рюхой или Пырей (за малый рост). Были еще Вовка Дурак и Вовка Малой, Петя Комнатный, а также Витька – Марсея и Лена – Директорова дочка. Прозвища были иногда обидные, но чаще нейтральные. Таню и ее троюродных сестер, Валу и Нину, на улице звали уменьшительно-ласкательными именами: Валечка, Ниночка, Танечка. Впрочем, вряд ли уменьшительно-ласкательные суффиксы в данном случае свидетельствовали об особо ласковом отношении к девочкам. Это были

тоже прозвища, и давались они, как и все остальные, по какому-то признаку. Хорошему или плохому – чаще всего, давая прозвище, об этом не задумывались. Возможно, Валя и Нина выделялись одеждой: они были лучше одеты, более аккуратны, а Таню воспринимали с ними заодно, как родственницу – тем более, что сшитые бабушкой-портнихой платьица, тоже обновлялись почти ежегодно. А может быть, играло роль то, что все три девочки были вежливы, уважали старших... Впрочем, из всех троих постоянно здесь находилась только Танина ровесница Валя. Она и школу посещала местную. Нина была старше на два года, жила с родителями в Германии, в военном городке. Отец девочек, офицер, майор по званию, проходил службу на территории Германской Демократической Республики. Тетя Галя, их мать, каждое лето приезжала погостить к своей матери, сестре Таниной бабушки, и привозила с собой Нинку. Тетя Галя была очень красивая – светлые волосы, уложенные косой вокруг головы, лучистые серые глаза, дорогая одежда, приятный запах духов... Из Германии тетя Галя всегда привозила Тане прижимки: яркие пластмассовые «держалки» для волос. У Тани были толстые и длинные, до пояса, темно-каштанового цвета косы, а прижимки замещали в косах ленточки: прикрепленные в завершение плетения, они удерживали его.

Таня бегала «в лапту» и маму увидела не сразу. «Танечка, твоя мама идет!» – закричал Савося. Подобрав тапки, валявшиеся возле забора, девочка кинулась навстречу маме. «Ты почему босиком? И зачем грязные ноги в тапки суешь?» – строго спросила мать. «Мам, ну они же все равно спадают...».

Пока мама с бабушкой препирались из-за Танькиных грязных ног («Ты не смотришь, что ребенок босой бегает по пыли!») – «А ты заставляешь девку в спадающих тапках ходить, пока ноги не переломает!», Таня, плеснув из ведра чуть-чуть воды в оцинкованный тазик с отломанной ручкой, сполоснула ноги, просто поболтав каждой в тазике, и, не вытирая, сунула их опять в тапки. Ничего – высохнут... Вода была очень холодная – бабушка недавно принесла ее из колонки. «Катя, там Галька про тебя спрашивала. Зайди хоть поздоровайся!», – говорила между тем бабушка. Таня увязалась за мамой.

Тетя Галя еще в прошлом году пристроила к домику матери комнату для себя. Зимой она стояла закрытая, Таня туда попала впервые – и поразилась, так там было красиво. В блестящем, как зеркало, отполированном шкафу («сервант» назвала его тетя Галя) за стеклом стояли удивительные фигурки, на стене висел гобелен с пастушками... Таня, как и мама, сняла обувь у двери и прошла по сияющему чистой крашеному полу, уселась в уголке, поджав под стул босые ноги. Мать тети Гали, бабушкина сестра тетя Клава, принесла чай и открытый пирог с вареньем. На Таню поначалу не обращали внимания, но девочку это устраивало. Она рассеянно слушала разговоры взрослых и рассматривала разноцветные стеклянные фигурки в «серванте». Вот охотничья собака, приняв стойку, прислушивается к чему-то, вот балерина кружится на одной ножке, руки изящно подняла над головой... «А перед тем, как Валерий получил назначение в Германию, мне снились масло и сыр...», – воодушевленно рассказывала, между тем, тетя Галя. Мама, улыбаясь, кивала... «Таня, возьми еще пирога, – обратилась тетя Галяк девочке – Скучно тебе, наверно. Валька с Нинкой на улице». Таня молчала, она была занята: старательно прятала ноги под стул. Дело в том, что на ступнях, поспешно засунутых в тапки еще мокрыми, образовались грязноватые разводы, и девочка боялась, что тетя Галя это заметит. Проследив Танины уловки, тетя Галя действительно посмотрела на ступни, ее

ухоженная мама выразило неодобрение. «Ой, Галя, она тебе, наверно, напала! – воскликнула мама, покраснев. – Снимает тапки и босая по улице бегают... Они ей великоваты: не нашлось подходящего размера в магазине...». «Катя, а может, Нинкины старые подойдут?! У нее нога быстро растет. Баба наша Нинкины сандалики еще позапрошлогодние для Вальки хранит, а я ей, конечно, новые привезла. Утром сегодня ругались: зачем хранит дрянь всякую... Подожди, давай Таньке твоей померим». – «Ну, я куплю, если подойдет...» – смутилась мама. – «Еще чего! И как у тебя язык поворачивается... Говорят же тебе – не нужны они нам! Будто мы не родня!»

Принесенные тетей Клавой сандалики были замечательные – синенькие, из толстой прочной кожи и почти новые. Обувь всегда бывает черная или коричневая, а тут синенькие! Сандалики пришлись впору, бегать в них было удобно. И красивые такие!

Лето катилось, как обычно, быстро и весело. Из троюродных сестер Таня больше общалась с Валею, своей ровесницей. Нина была и старше, и солиднее, и главное, не совсем простая – из Германии все-таки. С прошлого года Нина сильно подросла, у нее сформировалась почти женская фигура, которую подчеркивали красивые поплиновые платья, привезенные из Германии – цветные, узенькие в талии, с широкой подкрахмленной юбкой. Выглядела Нина очень хорошо и почти как взрослая. Иногда это ей нравилось, иногда смущало. По старой памяти она все еще играла на улице с детьми. Таня при ней как-то робела и предпочитала общаться с более понятной Валею – ровесницей к тому же. Впрочем, дети на улице продолжали Нину любить, называли по-прежнему Ниночкой, восхищались и платьями, и заколками, и даже ее рассказами, которые часто начинались со слов «А вот в Германии...».

Отношения здесь были давними, устоявшимися. Домики бабушек Тани, Вали и Нины стояли в центральной части этой длинной, вытянутой вдоль заливного луга улицы. Дети из соседних домов собирались вместе ежедневно. Днем играли прямо на дороге или на лугу, вечером собирались на бревнах (хозяева стремились расширить свои послевоенные домики – и бревна в штабелях, песок в кучах всегда лежали возле заборов – на радость детям) и допоздна рассказывали всякие истории: иногда из книг, но больше из жизни. Большим успехом пользовались рассказы Лены Прохоровой о том, какой у них будет необыкновенный, красивый дом.... Кирпичи и бревна для замечательного нового дома с прошлого лета были сложены возле забора, но строительство затягивалось. Пока что большая семья Прохоровых (отец, мать и шестеро детей) жили во временке с земляным полом. А Лена рассказывала подробно: и про огромные зеркала, и про ковры, и даже про мраморную лестницу на второй этаж. «В новом доме у каждого будет своя комната», – рассказывала Лена. «И у меня?» – спрашивал маленький Савося. Он знал, что ответит сестра, но все равно хотел подтверждения. «Да, и у тебя тоже! На втором этаже! На стене ковер... И на полу тоже – как у полковничихи!». К полковничихе Лена ходила с матерью раз в неделю убирать. Она часто рассказывала, как там красиво. Что новый дом Прохоровых будет двухэтажный и весь в коврах, дети, конечно, не верили – таких домов вообще не бывает! – но слушали уже не первый раз с удовольствием и даже с восторгом.

Улица заканчивалась с одной стороны непонятным учреждением под названием Бакалатория, а с другой стороны был выход к мебельной фабрике. Там тоже имелись свои детские компании, но немногочисленные, и порой дети оттуда приходили играть на

центральной часть улицы, где собиралось большое общество. Со стороны Бакалаторатории приходили Лена – Директорова дочка и Сережка Пыря, а со стороны мебельной – Зойка Зуиха. Если к первым двум относились нейтрально, а к тихой, воспитанной Лене даже уважительно, то Зойку почему-то не любили. Она была Таниной ровесницей, то есть вполне подходила к компании по возрасту, однако была очень рослой, что внешне прибавляло ей лет. Возможно, она стеснялась своей крупной неуклюжей фигуры и поэтому выглядела угрюмо.

Мама и бабушка Зойки держались обособленно, мало с кем на улице общались. Отца у Зойки не было, но Таня слышала разговоры, что раньше, еще до рождения Зойки, он жил на соседней улице, и это в него Зойка такая плечистая и крупная. Лицом она походила на мать, работницу прядильной фабрики тетю Веру. Обе были белокурые, с правильными чертами лица. На упоминания об отце Зойка реагировала болезненно. Она вообще была странная: с одной стороны, самоуверенная и напористая, с другой – обидчивая и ранимая. На улице ее не очень-то привечали, поэтому приходила она редко.

В начале июля на улице произошел конфликт. Поначалу в этой ссоре не было ничего особенного: дети частенько ссорились из-за всякой чепухи. Однако в тот раз пустяковая ссора вышла за пределы обычной и отразилась на жизни детей не только в течение всего лета, но, наверно, повлияла на их характеры в дальнейшем. Солнечным днем Гриппка, Савося, Вовка Малой, Журавлиха, Зуиха, Ниночка, Валечка и Танечка играли на дороге в «чижик». Дощечку для удара по «чижику» и сам «чижик» выстрогал для детей отец Малого. «Чижик» этот был очень удобный, дети им дорожили. Малой после игры всегда забирал его, хранил у себя. Каждый ударяющий по «чижику» старался отправить его как можно дальше – в этом заключалась суть игры. И вот случилось так, что Ниночка, не рассчитав траекторию, запулила «чижик» аж в Фоминихин сад.

Это была большая неприятность. Участок Фоминихи был повернут к улице не домиком, а задами. За забором из штакетника сразу начинался сад, а дом находился в отдалении и выходил фасадом на другую улицу. Чтобы не воровали яблоки, Фоминиха завела овчарку. Вовка Малой, непонятно на что надеясь, полез, было, через забор, однако тут же большими прыжками примчалась из-за кустов собака, и мальчик спрыгнул на землю, даже не успев занести ногу через планку на штакетнике.

Отйдя подальше от забора, за которым теперь лаяла собака, дети начали обсуждать потерю «чижика». «Второй раз отец не станет делать... – мотал головой Малой. – я и тот раз его долго просил». «Что же ты, раззява, не смотришь, куда пуляешь?!» – обратился к Нине Пыря и сплюнул. Он сделал свое замечание, в общем, беззлобно, однако Ниночка расстроилась. «Это все Зуиха виновата! – сказала она. – Стала прямо передо мной, загородила дорогу, так что «чижик» не в ту сторону полетел! Из-за нее». Зойка Зуиха, которая до того стояла молча и не ожидала от происшествия ничего плохого лично для себя, аж задохнулась от возмущения. «Я?! Я стояла, где все! Почему это я виновата?! Сама запулила криво, а теперь на меня спихивает! Вымахала здоровая корова! Конь Германский!»

Ниночка была старше и соответственно крупнее всех. Однако она была такая хорошенькая – в аккуратно подкрахмаленном цветном платьице, с двумя симпатичными короткими косичками... Она не привыкла слушать такие грубости. Ее все любили! «Конь Германский» – к ней не шло. Сейчас ее красивые, как у тети Гали, глаза расширились не

только от возмущения, но и от удивления. «Ты сама... ты сама...» – забормотала она. «Ты сама – Конь Германский! Вот! Ты и есть Конь Германский!!» – нашлась быстрее сестры выросшая на этой улице и потому острая на язык Валечка.

Все устались на Зуиху. Зойка Зуиха, будучи моложе Ниночки на два года, ростом уже вымахала с нее, да при этом была шире в плечах, коренастее. Как большинство детей на этой улице, она одевалась во что-то выцветшее, застиранное, бесформенное. Светлые ее волосы растрепались под гребенкой, большие руки вылезали из латаных рукавов кофты, ноги тоже были большие, тяжелые и в цыпках. Да, она действительно походила на тяжеловоза. Нежное лицо с тонкими чертами было всегда угрюмым и потому не меняло общего впечатления. «Конь Германский!» – закричала Агриппина. «Конь Германский! Конь Германский!» – радостно приплясывая, выкрикивала Ниночка. «Конь Германский!» – подхватил Марселя. Приплясывая, прискакивая, присвистывая, дети показывали на Зуиху пальцем и громко выкрикивали: «Конь Германский!!!».

Зойка стояла теперь в одиночестве против веселящейся группы детей. Дети прыгали, кричали и показывали на нее. Им было действительно очень весело, про «чижик» уже никто не помнил. Зойка неподвижно стояла одна против всех. Из глаз ее полились слезы, она размазывала их грязными от «чижика» руками, на лице образовались коричневые потеки. Конь Германский – это была она. Дети прыгали, и подступали ближе, и уже маленький, как воробей, Пыря приблизился почти вплотную, норovia дернуть Зуиху за рукав.

Таня испугалась: сейчас Зойку побьют, ей надо бежать! Но почему-то Зуиха, Конь Германский, даже и не думала тронуться с места. Крупная и мосластая, она продолжала стоять против кучки скачущих детей. Слезы уже не лились, но она начала громко икать. Это вызвало еще больший смех: «Гляди – Конь икает!».

Таня стояла в толпе детей сбоку. Она не смеялась, ей было жалко Зуиху. Неожиданно для себя она сделала шаг и оказалась рядом с застывшей в ступоре Зойкой, тронула ее за плечо. «Побежали», – тихо сказала Таня. Зуиха как очнулась. Она больно и крепко схватила Таню за руку, и они помчались. Дети с гиканьем и улюлюканьем бежали за ними. Быстрее-быстрее. Таня задыхалась от бега, ей было очень страшно. Если догонят, Таню тоже, наверно, побьют... Рядом мелькало обезображенное потеками от недавних слез лицо Зуихи. Она уже не икала – бег поглотил все. Девочки бежали изо всех сил. В конце улицы свернули в короткий переулочек к лугу. Пробрались сквозь заросли лопухов, потом мимо пасущейся цыганской лошади – к реке. И оглянувшись – «Кажется, они назад пошли...» – спрятались под обрывом: необходимо было отдышаться. Сидели долго, поглядывая друг на друга и отрывисто переговариваясь: можно вылезать? Нет, подождем еще – а вдруг они ждут за поворотом? Пахло прогретой солнцем травой, на травинке прямо перед Таниным лицом сидела небольшая синенькая стрекозка – река рядом. Пролетали бабочки: белые капустницы и пестрые королики. Было неинтересно смотреть на них: возбуждение от пережитого бегства и погони поглощало все чувства. Солнце припекало, и Таня спряталась под большой лопух. Зоя сидела прямо на солнце-пеке – как не замечала. Ступор опять вернулся к ней. Слезы уже давно не текли, но лицо было опухшее и все в разводах.

Так началась Танькина дружба с Зойкой. Дома она про Зуиху не сказала. Вечером бабушка осторожно вынимала из ее кос репейники и причитала: «Чего вас черт на луг

носит, в лопухи эти?! Играли бы на улице...». Бабушка и мама Зойки, напротив, были в курсе событий. Они всячески приветствовали Таню, угощали ее яблоками и говорили, обращаясь к Зое: «Вот с Танечкой и дружи. Она хорошая девочка: послушная, матом никогда не ругается».

Удивительно, но когда Таня на следующий день вышла на улицу, никто из детей ей о вчерашнем не напомнил. Ее по-прежнему звали Танечкой, охотно принимали в игру... С Валечкой они хоронили погибшего цыпленка, выпрашивали у рыбаков мелкую рыбешку для кота, а также слушали Ниночкины рассказы о Германии. С Агриппиной, Савосей, Пырей, Малым и другими играли в прятки, в штандр и в «чижика». На этот раз Малой сам его кое-как выстрогал. Конечно, с тем первым не сравнить... Да уж хоть такой! Ниночку по-прежнему любили и уважали, про залетевший в Фоминихин огород «чижик» никто ей не напоминал, случай с «чижигом» вообще быстро забыли.

Но Зуиху в эту часть улицы теперь не допускали. Иногда она приближалась, и тогда кричали «Конь Германский!», гнались за ней. И опять они вместе с Таней должны были убежать и прятаться. Поэтому Таня предпочитала ходить к подруге сама.

Памяти З.

З. – это деревня Ярцевского района, Смоленской области. Я приехала туда в 1970-м году, сразу после окончания пединститута. Наш выпуск распределяли в села Смоленщины, да еще несколько мест дали в аулы Северного Кавказа. Малокомплектная восьмилетняя школа, в которой я должна была работать, располагалась рядом с большой трассой и недалеко от города, так что это было хорошее распределение. Деревня З. была сравнительно небольшой, однако в ней имелась школа-восьмилетка и медпункт. Окаймленная с двух сторон негустым лесом, деревня тянулась от трассы вглубь, улица была только одна, зато длинная. Школа находилась в середине этой улицы, на пологом пригорке. Улица поднималась к школе, потом спускалась от нее... Так что школа была во всех смыслах «деревнеобразующим предприятием», если можно так выразиться. В ней учились дети из нескольких окрестных деревень, даже за пять километров ходили через лес десятилетние школьницы. Но все равно учащихся не хватало.

В один год со мной в школу поступила работать еще одна молодая учительница – математик. Ее звали Нина. Нас поселили вместе. Дом, куда нас привели, был одним из лучших в деревне. Бревенчатая пятистенная изба, недалеко от школы. Хозяева, Евдокия Никитична и Николай Федорович, контрастировали друг с другом. Она – крупная, в платочке, в длинной юбке, со спокойным приветливым лицом, склонная к шутке, терпеливая. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», – это про нее сказал поэт. Он – невысокий, вечно небритый, с седыми волосками вокруг лысины, суетливый и любитель прикрикнуть на жену. Все в деревне звали его Ходя. И жена его так называла. Уже ближе к зиме, когда мы обжились и почти сдружились, я спросила, что означает прозвище. Оказалось, ходей раньше называли китайцев, торгующих вразнос мелкими дешевыми товарами... А ведь подходило ему это имя...

С Евдокией Никитичной они познакомились вскоре после войны. Эту девушку с большими рабочими руками, с настороженным взглядом исподлобья, Николай увидел

в другой деревне, в доме своих дальних родственников, куда зашел почти случайно. И стал в ту деревню заглядывать – хоть и не так близко, шел все равно. «А как было на нее внимания не обратить! – восклицал в этом месте рассказа Николай Федорович. – Как не обратить, если она станет за занавеской и смотрит оттуда? Выглянет, посмотрит так быстро-быстро, да и спрячется опять за занавеску». «Я в тот год только из Сибири пришла. – вступала хозяйка. – И сестры, и родители – все к тому времени умерли. Голод, холод! Как привезли нас, ссыльных, как выгрузили в степи – это еще в начале тридцатых, я маленькая была... Но тоже все делала, помогала. Как выжила еще! Да меня берегли все, и батька, и матка, и сестры старшие – сами поумирали раньше... Землянку сперва рыли, два года жили в ней. Хибарку малую батька с маткой поставили на третий год только. Тяжело очень было. А после войны я решила в родные места идти. Страху меньше стало сразу после войны. Пришла, вот знакомые приютили. Боялись и я, и они, что узнают, откуда я. Их ведь тоже по головке не погладят: зачем прятали. Замуж вышла – тогда легче стало».

Евдокия Никитична была из семьи ссыльных кулаков. В другой раз при просмотре по телевизору какого-то сериала она сказала: «Я вот иной раз смотрю – и думаю. Ну, когда в кино показывают кулаков, что они враги – это я понимаю. Они с обрезом, стреляют – это кулаки, да... А мы ни в кого не стреляли, никаких обрезов у нас не водилось, за что нас было ссыловать?». Говорила она это задумчиво, спокойно, без намека на злобу или обиду. Старалась понять – и не понимала.

Изда была поделена на две половины. Сразу возле входа – кухня с большой русской печью. Кроме печи, там был деревянный стол и лавка. В кухне мы все обедали, столовались мы с Ниной у хозяев.

Спали хозяева на печи, а мы с Ниной в отгороженном от кухни «зале». В зале стояли две железные кровати, большой стол, за которым мы готовились к урокам, и шкаф.

Мы мало с кем познакомились в деревне. Знали только родителей учеников, и то не всех – из дальних деревень родители никогда в школу не приходили, да и наших мы знали не всех. С коллегами-учителями общались, конечно. Учителя были интересные. Самый заметный – директор, Алексей Иванович. Он был дока. Все понимал, со всеми мог поддержать разговор. В щегольском чешском костюме, в начищенных до блеска тонких штиблетах – а в школе зимой было холодно, мы, бывало, и в валенках на уроки ходили. Дипломатичный, знающий тонкости конъюнктуры, он оберегал от закрытия эту малокомплектную школу много лет. Будучи учителем географии, помнится, объяснял нам с Ниной, что на этой земле, в З., все можно вырастить, такие прекрасные эти дерново-подзолистые почвы. Он и в самом деле мог почти все. Школу он вел твердой и при этом в меру податливой рукой. Спорил с ним только Павел Ерофеевич, учитель истории. Они были примерно одного возраста, однако антиподы. Буйная прическа, свитер под пиджаком, а то и поддевка, в мороз валенки – как это контрастировало с отглаженной лысиной директора! Запомнилась добрейшая Анна Петровна, учительница биологии... Она осталась в памяти как образец самокритики и лояльности ко всем без исключения. «Такие мы незавидные!» – восклицала она при любых неурядицах, как бы принимая их, соглашаясь, беря вину на себя. Она заставляла посмотреть на жизнь под углом какой-то женской каратаевщины, и этот взгляд остался с тех пор для меня одним из важных критериев жизненных оценок, даже можно сказать, вошел в характер, несколько подправив холерический темперамент.

К нам с Ниной все в этой школе относились хорошо. Позже я узнала, что так бывает не всегда. Где-то ближе к февралю приехавшая из района инспектор РОНО, молодая девушка, видимо, тоже не так давно окончившая вуз, улучив момент, когда в учительской никого, кроме нас с Ниной, не было, стала участливо расспрашивать, все ли у нас благополучно, не гнобит ли нас директор. «Нет, все хорошо, к нам, напротив, очень хорошо все относятся, помогают», – правдиво отвечали мы, но инспектор не верила. «Вы не бойтесь, – подначивала она, – скажите. Я Вас защищу, я смогу принять меры. Я сама в свое время от этих стариков настрадаюсь». «Вы, должно быть, проголодались с дороги?!» – обратился к ней возникший вдруг рядом Алексей Иванович. Когда он успел войти? Наверно, только что? «Пойдемте к нам! Жена уже накрывает на стол, пообедайте – что же Вы голодная назад поедете?» – настаивал директор. Она, покраснев от неожиданного его вторжения, отказалась: «Нет-нет, я быстро доберусь до дома. Уже пора». Директор всех проверяющих угощал прекрасными домашними завтраками и обедами, это было нормальное сельское гостеприимство, разве что с совсем маленьким оттенком угонничества по отношению к начальству. А как без него?

Школа была малокомплектной, такие нередко закрывали. В моем шестом классе училось 8 детей, в седьмом – 6, в восьмом, если не ошибаюсь, – 11. Дети были, конечно, всякие. Помню очень способного мальчика из 8 класса, Сашу Морозова. Математичка Нина его тоже хвалила. Саша собирался выучиться на агронома – такая у него была мечта. Надеюсь, что так и получилось. В моем шестом классе прекрасно учились две девочки: Лена и Таня. Лена хотела стать врачом, а Таня учителем. Я была убеждена, что они могут поступить в вузы и их окончить. Однако Лена стала медсестрой, а Таня учительницей начальных классов, в вузы они не поступили. Не знаю в чем дело, но считаю это несправедливым. Учили мы их, вроде, нормально, но вот не дотянули... Может, они и не пробовали поступать, ведь учеба в вузе и тогда предполагала 5-6 лет дополнительно на родительской шее, а в сельской местности люди жили, в основном, бедно. Часто вспоминаю и других детей, особенно из моего шестого...

Дети там были очень благодарные, после я таких уже не встречала. Они радовались любому вниманию. Школьная газета была для них праздник. Выдача книг из школьного книжного шкафа – большая радость...

Я прожила там всего год. Летом наша маленькая деревенька утопала в зелени, а зимой в снегу. Днем, в зависимости от времени года, дорога на единственной улице искрилась от притоптанного снега или зарастала мелкой травкой. Ночью в любое время года она погружалась в крошечный, неизбывный мрак. Слабо светились лишь некоторые окошечки... Каждый выходной я ездила в Смоленск. Смоленск стал мне казаться очень красивым, ярким и полным огней. В субботу вечером автобус въезжал в город, город сверкал огнями, и это был праздник. В пуховом платке, в большой шубе я, сельская учительница, выходила из автобуса, восторженно оглядывала городскую суету... Когда возвращалась в свою деревню поздно вечером в воскресенье, шла в темноте почти наугад, и у подножия школьного холма меня почти всегда останавливала большая непривязанная собака. Иногда мне удавалось ее обойти. Иногда я останавливалась, мы долго стояли друг перед другом, она лаяла, я смотрела, не решаясь шагнуть вперед. В одноэтажной деревянной нашей школе зимой было холодно. Помещения отапливались круглыми железными печками – одна печка на два класса. Топили дровами. Ис-

топник дядя Витя растапливал печи рано утром, еще до занятий. Маленькие оконца мы тщательно заклеивали. Но все равно было холодно. Помню, я все норовила прижаться к печке спиной и диктовать урок оттуда.

Это был грустный, иногда тоскливый, но полный новизны год. В крещенские морозы у нас в доме поселились куры, а потом и теленок. Ходя, то есть Николай Федорович, огородил курам небольшое пространство возле печки, теленок вообще был привязан. Куры негромко разговаривали друг с другом, скребли лапками, разгребая нечто невидимое на полу, теленок, в основном, леживал молча, наслаждаясь домашним теплом. Когда давали еду, он громко и с удовольствием чавкал. В библиотеку, в кино я могла ходить только по выходным, приезжая в Смоленск...

Так прошла зима, отшумела весна. К лету я твердо решила уезжать из деревни.

Я и теперь не уверена, что поступила тогда правильно. Там, в З., в сельской школе я была нужна. В городе я не смогла устроиться не только в школу, но даже в детский садик. Прошло 5 лет прежде чем я снова получила работу по специальности, и то лишь благодаря своему упорству, в результате затраты непропорционально больших жизненных сил. Про З. я вспоминала – вначале часто, потом значительно реже, потом, казалось, забыла совсем.

Недавно мне захотелось посмотреть – что там теперь в З., существует ли школа, кто ею руководит и как вообще поживает деревня.

Открыв ссылку в интернете, я обрадовалась: существует, вот оно мое З.! И прочитала: в З. проживает 6 (шесть) человек. Уже давно нет нашей малокомплектной школы, не тянется между мелколесьем длинная деревенская улица: на пригорок, потом с пригорка. Не бегают по ночам единственная в деревне собака, не горит свет в отдельных низеньких оконцах посреди общего мрака... Рядом с бывшей деревней, прямо на шоссе, расположился ярко освещенный современный гостиничный комплекс – для проезжающих, спешащих по этой оживленной трассе за границу ли, в Москву ли... Номера от полутора тысяч, в каждом номере душ, при гостинице имеется кафе и бильярдная. Те шесть человек – может, кто-то из моих шестиклассников, а может, их дети – обслуживают этот комплекс.

Но бродят, бродят вокруг комплекса тени. И однажды позвонит в заграничный дверной колокольчик элегантный господин в чешском костюме, в начищенных штиблетах. «Я директор Алексей Иванович», – скажет он. И проникновенно спросит у портье: «Почему же столько земли пустует? У нас прекрасная земля. У нас в З. на наших древесно-подзолистых почвах все растет. Что прикажут, то тотчас и начинает расти. Почему бы вам не засеять эти поля кукурузой? Если прикажет районное начальство, тут прекрасная кукуруза вырастет! Далеко, высоко заколосятся ее поля!» А за ним появится грозный Павел Ерофеевич, в поддевке. «Всем десять лет без права переписки! – воскликнет он, сдвинув брови. – Это что тут понастроили вместо советского колхозного хозяйства?! Кто посмел?!» И добавит, стукнув кулаком по хлипкой заграничной стойке-ресепшн: «Тратата-тудить-растудить-разэтудить!» И, зардевшись от таких его слов, станет нашептывать на ухо милая девушка из РОНО: «Скажите, скажите мне, какие здесь нарушения! Вот увидите, я передам кому надо и все устроится!» «А не перекусить ли нам яичницей? – предложит тотчас галантный-дипломатичный Алексей Иванович. – Зачем волноваться, господа! Мои куры снесли сегодня свежайшие яйца!» И зашумят невесть откуда взявшиеся куры: «Пу-

стите, пустите нас в современный гостиничный комплекс, в номер за полторы тысячи рублей с душем. Мы замерзли на улице, мы хотим погреться и расплатимся яйцами...» И замычит, зачмокает губами теленок. А за животными тут как тут появится Евдокия Никитична, ведя за руку своего Ходю. «У нас не было обреза. – скажет она задумчиво. – Мы ни в кого не стреляли! За что же нас?» И разведет руками кроткая Анна Петровна: «Такие мы незавидные!»

СБОР СРЕДСТВ В ФОНД МИРА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В 1971 ГОДУ

В эту малокомплектную восьмилетнюю школу в небольшой смоленской деревеньке я поступила после окончания пединститута по распределению.

Поселили меня вместе с также прибывшей по распределению учительницей математики Ниной в крепком крестьянском доме, где были прекрасные хозяева (о них надо бы написать отдельно...) – Евдокия Никитична и Николай Федорович. Дом представлял собой одну большую комнату (студию, как сказали бы сейчас, а тогда говорили «залу») с русской печкой посередине. Мы с Ниной спали на кроватях, а хозяева на печке. В морозы в дом брали кур и даже теленка. Он тихо сидел за печкой, никому не мешал, в отличие от беспокойных кур.

Школа наша была одноэтажной – низенькое, с маленькими окошками, деревянное вытянутое здание. Отапливались классы с помощью печей. Истопник дядя Коля старался, однако зимой все равно было очень холодно. Будучи легко простужающейся мерзлячкой, я, как и некоторые другие наши учителя, проводила уроки в валенках. Кажется, это не очень одобрял наш директор, Алексей Иванович. Сам он одевался в школу щеголевато – всегда был в костюме, при галстуке и, несмотря на морозы, в хорошо начищенных тонких штиблетах. Но вслух он ничего насчет валенок не говорил. Алексей Иванович руководил сельской школой давно, был опытный, тертый калач. Малокомплектная наша школа, где в классах насчитывалось от шести до двенадцати учеников (подавляющее большинство детей приходили из других деревень – по снегу, в морозы), под его руководством, насколько это было возможно, благоденствовала. К молодым учителям (то есть к нам с Ниной) в школе относились хорошо.

И вот в один из весенних дней (кажется, в начале апреля), директор обратился к нам с небольшим, как он сказал, поручением. «В нашем районе сейчас проходит кампания по сбору средств в Фонд Мира. Должна принять участие и наша деревня. Поручили сбор школе. Мы, учителя, конечно, сдадим кто сколько может. Но нужно, чтобы приняло участие и население. Пройдите по домам. Не старайтесь, чтоб много сдавали, пусть это мелочь будет – кто не может пятьдесят копеек, пусть двадцать, десять копеек сдаст, – главное, чтоб участие приняли. И каждого, кто хоть копейку сдал, запишите, пусть обязательно распишутся в ведомости. Мол, принял народ участие». Мы с Ниной согласно кивали: что ж, пройдем, конечно... «И вот еще что, – Алексей Иванович посмотрел на нас оценивающе, с сомнением. – Вы там не объясняйте особенно подробно,

что за фонд, куда пойдут деньги. Говорите только одно: “Чтобы не было войны”. Деньги нужно сдать, чтобы не было войны. Фонд Мира. Чтобы не было, значит, войны. И все!».

Весна заявляла о себе, снег на пригорках растаял, но еще лежал в ложбинках. Погода стояла сырая, промокшие деревья простирали светлые безлиственные ветки на фоне набрякшего влагой неба. Между островками снега чавкала грязь, не страшная нам с Ниной – мы, конечно, были в резиновых сапогах. Ступая по грязи, мы вышли за пределы огороженной низеньким штакетником территории школы. Нина шла молча. Я тоже молчала, размышляла про себя: «Странный Алексей Иванович... Почему так примитивно нужно объяснять – повторять, как попка, “чтоб не было войны”, и все! Почему не рассказать подробнее – как страдают народы Африки, например...».

«Куда пойдём?» – спросила Нина. В деревне нашей мы мало с кем были знакомы – в основном, с учителями и родителями учеников. Некоторых жителей знали наглядно или по рассказам квартирной хозяйки. Здоровались, конечно, со всеми. Сейчас деревенская улица была, как всегда, тихая, пустынная. Впрочем, возле одной покосившейся хатки стояли две женщины. Одну мы чуть-чуть знали, ее звали Устиновна. Кривая хатка эта, недалеко от школы, как раз ей принадлежала, и когда шли с работы, мы Устиновну часто видели: то ходит с палочкой вокруг своего убогого домишки – серые бревна да кося лежачая на них крыша, – то возле разбитого крылечка стоит.

Устиновна была неопределенного возраста, маленькая и покосившаяся, как ее домик. Жила она одна. Возраст невозможно было определить, потому что мы всегда видели Устиновну в сбившемся платке да в каких-то отрепьях. За отрепьями, за криво надвинутом на лоб темным платком, за покосившейся фигурой возраст был не виден: может, сорок лет, а может, семьдесят. Сейчас, как обычно, на ней был повязанный крупным узлом под подбородком клетчатый платок, из-под которого выбивались волосы, и замызганное пальто со скатавшимся до превращения в войлок воротником. На ногах глубокие, почти до щиколоток, галоши, надетые поверх вязаных носков. Устиновна беседовала с какой-то женщиной. Ту мы видели реже – она жила на другом конце деревни, звали ее, кажется, Фирсиха. Была она много крупнее Устиновны, одета в старую телогрейку, из-под которой виднелся ситцевый, в поблекших цветочках, халат поверх заправленных в резиновые сапоги тренировочных брюк. На голове такой же, как у Устиновны, клетчатый платок.

«Давай с них и начнем», – предложила я деловито. И мы подошли к женщинам. Наш рассказ о необходимости пожертвовать в Фонд Мира хоть малую сумму («двадцать копеек можно или десять – сколько есть у Вас...») они восприняли вполне добродушно. Полезли в карманы, стали выуживать оттуда мелочь... «Это чтоб не было войны – распишитесь в ведомости, пожалуйста», – пояснила Нина, протягивая «гелевую» ручку – тогда такие были в моде. Ведомость она положила на свою сумку, и мы вдвоем эту сумку на весу придерживали.

Открыленная успехом, я решила его развить. Мне хотелось все, все объяснить этим женщинам, чтобы они поняли, какое хорошее дело делают. «Понимаете, – сказала я, – во многих странах люди плохо живут. Или война локальная, или просто есть нечего. Вот в Сомали, например, вы, наверно, видели по телевизору – дети голодают. И эти деньги могут им помочь!». Устиновна в это время уже успела взять ручку и, неловко держа ее заскорузлыми пальцами, старательно рисовала в ведомости подпись. Фирсиха следила за процессом рисования, ожидая своей очереди.

Реакция на мои слова была неожиданная. Обе женщины, подняв головы, устояли на нас почти с ненавистью. Синяя «гелевая» ручка упала на ведомость, покати-лась в грязь, в сырой подтаявший снежок. Нина растерянно опустила сумку, подхватила ведомость. Подняв дрожащие пальцы к косо повязанному платку, к выбивающимся из-под него прядям, устремив глаза к серенькому промозглому небу, к сырým веткам и телеграфным проводам, Устиновна закричала, запричитала звонким дребезжащим, захлебывающимся в плаче голосом: «А нам-то кто помогал?! Нам неуж помог кто когда, а?! Вон в тоем лесе в яме сидели, почитай, усе лето! В тоем лесе! В сорок третьем годе, покаместь наши не пришли!». Она повернулась в сторону леса, простиравшегося за де-ревной: «Батьку застрелили, матку повесили, а я в лесе пряталась, боялася, сидела тама, дрожми-дрожала! Ой, да, може, и прибрали бы мене, ладнее было бы!»

И вдруг эта кособокая маленькая Устиновна начала громко, с завываниями, петь: «Ой, да почто ж вы оставили мене, батюшка с матушкой, не забрали с собой, погубили вас вороги лютые! Горе-то мое горькое, не прощенное! И никто-то никогда не пожалел, не помог мене, сироте несчастной, брошенной! Одинокая осталася навеки, горюшка одинокая! На всю-то жизнь одна-одинешенька! И не к кому приклонитесь мене голо-вушкой, одна в свету сиротиночка! И улица-то мене неширокая, и хатка-то мене невы-сокая! И кушать-то менетока лебедушку-крапивушку, ой, да еще шкурочки-очисточки! И никому-то я не нужная-нелюбимая, во всем свету белом одинокая!»

Тут она задохнулась, дыхания ей не хватило, и она замолкла. Но уже подключилась Фирсиха: «А мы что, не голодали? Из крапивы щи варили! И кто ж нам-то помог когда?! Мужика моего в сорок шестом годе в тюрьме до смерти забили, только поженилися мы! Усе тамау поле картошку копали – не один енбыл! А забрали яго одного только! Ну, копал ентама, да, може, и виновен был, поле-то колхозное, однако не забивать же жыго? Це-лый с фронта пришел, не чаял притить, а тута, дома, гляди-кось, в тюрьме забили!». Она стояла большая, на голову выше Устиновны, в старом ватнике, в клетчатом, завязанном под подбородком платке и страстно размахивала руками, заходясь в крике. Голос был зычный, и когда начала голосить, он был слышен на всю деревню. «Ой, да на кого ж ты мене покинул, родименький?! И кому же мене теперя жалитися, бедной, плакатися?! Ой, да не нужна никому теперя я, вдовица сирая, несчастная! Ой, да хотя копеечку, хотя хлебушка негде узяти мене! Ой, да начальнички работать гонють, а кушать ничего нетути! Ой, да у поле с зари до зари, не разогнутися! Ой, да не поможеть никто мене и спросить-то за что-почто не с кого!»

Мы с Ниной стояли остолбеневши. Прошел домой, отвернул от нас голову мудрый Алексей Иванович – другой дорогой пошел, кружной, чтоб мимо нас не иди. Прибли-жался промозглый весенний вечер. И мы все стояли на сыром пригорке, на черной грязи с клочками серого тающего снега. Никого не было вокруг: только деревья и мы четверо. Деревья простирали сырые ветки, то ли прощая, то ли обвиняя, и мы с Ниной не смели уйти. И голосили на всю деревню поочередно, сменяя друг друга, две старухи, каждая о своем, об общем, о нашем. А-а-а-а-а! Ой да и спросить за что-почто не с кого! А-а-а-а-а!